#### **ПО ЗАКОНАМ СОВЕСТИ**

Фрагмент рассказа Фазиля Искандера «Школьный вальс, или энергия стыда»)

По восточному обычаю в нашем доме никогда не ели свинину. Не ели взрослые и детям строго-настрого запрещали. Хотя другая заповедь Магомета — относительно алкогольных напитков — нарушалась, как я теперь понимаю, безудержно, по отношению к свинине не допускалось никакого либерализма. Запрет порождал пламенную мечту и ледяную гордость. Я мечтал попробовать свинину. Запах жареной свинины доводил почти до обморока. Я долго простаивал у витрин магазинов и смотрел на потные колбасы со сморщенной кожурой и крапчатыми надрезами. Я представлял, как сдираю с них кожуру и вонзаю зубы в сочную пружинистую мягкость. Я до того ясно представлял себе вкус колбасы, что, когда попробовал ее позже, даже удивился, насколько точно я угадал его фантазией.

Конечно, бывала возможность попробовать свинину еще в детском саду или в гостях, но я никогда не нарушал принятого порядка. Помню, в детском саду, когда нам подавали плов со свининой, я вылавливал куски мяса и отдавал их своим товарищам. Муки жажды побеждались сладостью самоотречения. Я как бы чувствовал идейное превосходство над своими товарищами. Приятно было нести в себе некоторую загадку, как будто ты знаешь что-то такое недоступное окружающим. И тем сильней я продолжал мечтать о греховном соблазне.

В нашем дворе жила медсестра. Звали ее тетя Соня. Наши семьи были в хороших отношениях. Мама говорила, что тетя Соня спасла меня от смерти. Когда я заболел какой-то тяжелой болезнью, она с мамой дежурила возле меня целый месяц. Я почему-то не испытывал никакой благодарности за спасенную жизнь, но из почтительности, когда они об этом заговаривали, как бы радовался тому, что жив.

Мне очень нравился её муж — дядя Шура. Нравилась черная кудлатая голова с чубом, свисающим на лоб, опрятно закатанные рукава на крепких руках. Вечерами, приходя с работы, он вечно что-нибудь чинил: настольные лампы, электрические утюги, радиоприемники и даже часы. Все эти вещи приносились соседями и чинились, разумеется, бесплатно. Когда ему удавалось завести часы, в приемнике возникали трески, обрывки музыки, а он подмигивал мне и говорил:

— Ну что? Получилось у нас или нет?

Я всегда радовался за него и улыбкой давал знать, что я тут ни при чем, но ценю то, что он берет меня в свою компанию.

— Ладно, ладно, расхвастался,— говорила тетя Соня.— Убирай со стола, будем чай пить.

Однажды, когда я, как обычно, сидел у них, зачем-то пришла сестра, и они оставили ее пить чай. Тетя Соня накрыла на стол, нарезала ломами нежно-розовое сало, поставила горчицу и разлила чай. Они и до этого часто ели сало, предлагали и мне, но я неизменно и твердо отказывался, что всегда почему-то веселило дядю Шуру. Предлагали и на этот раз, не особенно, правда, настаивая. Дядя Шура положил на хлеб несколько ломтей сала и подал сестре. Слегка поломавшись, она взяла у него этот позорный бутерброд и стала есть. Струя чая, который я начал пить, от возмущения затвердела у меня в глотке, и я с трудом ее проглотил.

— Вот видишь,— сказал дядя Шура.— Эх ты, монах!

Я чувствовал, с каким удовольствием она ест. Это было видно и по тому, как она ловко и опрятно слизывала с губ крошки хлеба, оскверненного гяурским лакомством, и по тому, как она глотала каждый кусок, глуповато замирая и медля, как бы прислушиваясь к действию, которое он производит во рту и в горле. При этом она с чисто женским коварством рассказывала про то, как мой брат выскочил в окно, когда учительница пришла домой жаловаться на его поведение. Рассказ ее имел двоякую цель: во-первых, отвлечь внимание от того, что сама она сейчас делала, и, во-вторых, тончайшим образом польстить мне, так как всем было известно, что на меня жаловаться учительница не приходила, и тем более у меня не было причин бегать от нее в окно. Рассказывая, сестра поглядывала на меня, стараясь угадать, продолжаю ли я следить за ней или, увлеченный ее рассказом, забыл про то, что она сейчас делает. Но взгляд мой совершенно ясно говорил, что я продолжаю бдительно следить за ней. В ответ она вытаращивала глаза, словно удивляясь, что я могу столько времени обращать внимание на такие пустяки.

Покончив с бутербродом, сестра приступила к чаю, продолжая делать вид, что ничего особенного не случилось. Как только она взялась за чай, я допил свой, чтобы ничего общего между нами не было. Я отказался и от печенья, чтобы страдать до конца и вообще в ее присутствии не испытывать никаких радостей. К тому же я был слегка обижен на дядю Шуру, потому что мне он предлагал угощение не так настойчиво, как сестре. Я бы, конечно, не взял, но для нее это был бы хороший урок принципиальности.

Словом, настроение было испорчено, и я, как только выпил чай, ушел домой. Меня просили остаться, но я был непреклонен.

— Мне надо уроки делать, — сказал я с видом праведника, давая другим полную свободу заниматься непристойностями.

Придя домой, я быстро разделся и лег. Но вот скрипнула дверь, в комнату вошла сестра и сразу же спросила обо мне.

— Лег спать, — сказала мама,— что-то он скучный пришел. Ничего не случилось?

— Ничего, — ответила она и подошла к моей постели. Она немного постояла и отошла. Мне показалось, что она чувствует раскаяние и теперь не знает, как искупить свою вину.

Я слегка пожалел ее, но, видно, напрасно. Через минуту она что-то полушепотом рассказывала маме, и они то и дело смеялись, стараясь при этом не шуметь, якобы заботясь обо мне. Постепенно они успокоились и стали укладываться. Было ясно, что она довольна этим вечером. И сало поела, и я ничего не сказал, да еще и маму развеселила. Ну ничего, думал я, придет и наше время.

На следующий день мы всей семьей сидели за столом и ждали отца к обеду. Он опоздал и даже рассердился на маму за то, что дожидалась его. В последнее время у него что-то не ладилось на работе, и он часто бывал хмурым и рассеянным.

До этого я готовился за обедом рассказать о проступке сестры, но теперь понял, что говорить не время. Все же я поглядывал иногда на сестру и делал вид, что собираюсь рассказать. Я даже раскрывал рот, но потом говорил что-нибудь другое. Как только я раскрывал рот, она опускала глаза и наклоняла голову, готовясь принять удар. Я чувствовал, что держать ее на грани разоблачения даже приятней, чем разоблачать. Она плохо ела и, почти не притронувшись, отодвинула от себя тарелку с супом. Мама стала уговаривать ее, чтобы она доела свой суп.

— Ну конечно,— сказал я,— она вчера так наелась у дяди Шуры...

— А что ты ела? — спросил брат, как всегда, ничего не понимая.

Мать тревожно посмотрела на меня и незаметно для отца покачала головой. Сестра молча придвинула тарелку и стала доедать свой суп.

Одним словом, обед прошел великолепно. Добродетель шантажировала, а порок опускал голову. После обеда пили чай. Отец заметно повеселел, а вместе с ним повеселели и все мы. Особенно радовалась сестра. Щеки у нее разрумянились, глаза так и полыхали. Она стала рассказывать какую-то школьную историю, то и дело призывая меня в свидетели, как будто между нами ничего не произошло. Меня слегка коробило от такой фамильярности. Мне казалось, что человек с ее прошлым мог бы вести себя поскромней, не выскакивать вперед, а подождать, пока ту же историю расскажут более достойные люди. Я встал и дрожащим голосом сказал, обращаясь к отцу:

— Она вчера ела сало...

В комнате установилась неприличная тишина. Я со страхом ощутил, что сделал что-то не так.

Отец глядел на меня тяжелым взглядом из-под припухлых век. Глаза его медленно наливались яростью. Я понял, что взгляд этот ничего хорошего мне не обещает. Я еще сделал последнюю жалкую попытку исправить положение и направить его ярость в нужную сторону.

— Она вчера ела сало у дяди Шуры,— пояснил я в отчаянии, чувствуя, что все проваливается.

В следующее мгновение отец схватил меня за уши, тряхнул мою голову и, словно убедившись, что она не отваливается, приподнял меня и бросил на пол. Я успел ощутить просверкнувшую боль и услышал хруст вытягивающихся ушей.

— Сукин сын! — крикнул отец.— Еще предателей мне в доме не хватало!

Схватив кожаную тужурку, он вышел из комнаты и так хлопнул дверью, что штукатурка посыпалась со стены. Помню, больше всего меня потрясли не боль и не слова, а то выражение брезгливой ненависти, с которой он схватил меня за уши. С таким выражением на лице обычно забивают змею.

Ошеломленный случившимся, я долго лежал на полу. Мама пыталась меня поднять, а брат, придя в неистовое возбуждение, бегал вокруг меня и, показывая на мои уши, восторженно орал:

— Наш отличник!

Я очень любил отца, и он впервые меня наказал.

С тех пор прошло много лет. Я давно ем общедоступную свинину, хотя, кажется, не сделался от этого счастливей. Но урок не прошел даром. Я на всю жизнь понял, что никакой высокий принцип не может оправдать подлости и предательства, да и всякое предательство — это волосатая гусеница маленькой зависти, какими бы принципами оно ни прикрывалось.